

АНАЛИТИКА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.2-216-231

УДК 830(47)

ПИСАТЕЛЬ И СВИДЕТЕЛЬ (РЕЦЕПЦИЯ «ЗАПИСОК ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ О КАТОРГЕ И ГУЛАГЕ)¹

Гузаевская Светлана Николаевна,

*кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации
Новосибирского государственного медицинского университета,
630091, Россия, Новосибирск, ул. Красный проспект, 52
ORCID: 0000-0003-0131-9307
practicum-ege@gmail.com*

Родин Кирилл Александрович,

*кандидат философских наук,
старший научный сотрудник отдела философии
Института философии и права СО РАН,
630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, 8
ORCID: 0000-0002-6582-8939
rodin.kir@gmail.com*

Аннотация

Предметом исследования в статье являются рецепция и трансформация повествовательной стратегии, использованной Ф.М. Достоевским в повести «Записки из Мертвого дома». Присутствие в тексте диегетического нарратора и неосведомленность читателей о реалиях каторги позволили Достоевскому создать художественный мир, который воспринимается читателями как «реальный». Показано, что этот способ был сознательно использован писателем для «цензурности» текста и сохранения дистанции от материала. Нарочитая некомпетентность нарратора оправдывает кажущуюся композиционную неупорядоченность текста (Горяччиков как персонаж не является профессиональным писателем), субъективность его оценок и недостаточное понимание происходящего на каторге. Текстом, декларирующим «правильное» понимание изображаемого каторжного мира, является книга «Сахалин (Каторга)» В.М. Дорошевича (1903 г.). Это журналистское расследование, целью которого, по словам автора, было «сказать всю правду о каторге». Дорошевич и его герои, каторжники, соотносят свой опыт с опытом, представленным в тексте Достоевского. Исследован вопрос, как последовательное смешение в читательском сознании нарратора (Горяччикова) и личности Достоевского

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-90001).

создали знаковую фигуру – конструкт «писатель на каторге» – и дали толчок к возникновению множества подражателей, особенно из числа оказавшихся на каторге интеллигентов. Повествовательная стратегия «писатель» подразумевает позицию всезнания и отношение к увиденному и пережитому как к материалу для литературы. Это имеет отношение и к самим каторжанам-писателям, и к В.М. Дорошевичу. Писатель эксплуатирует каторжников, присваивая их истории, делая их «материалом». Но и каторжники эксплуатируют писателя, полагая свою судьбу достойной для вхождения в литературу. Литературоцентричность культуры XX в. позволила продолжить использование стратегии «писатель» А.И. Солженицыным, подчинившим авторскому замыслу истории, рассказанные жертвами сталинских репрессий, что лишило их индивидуальных оценок. Стратегия свидетеля, использованная В.Т. Шаламовым, противопоставлена именно этой традиции, восходящей к ложному восприятию повествовательной стратегии, использованной Достоевским в «Записках из Мертвого дома».

Ключевые слова: Достоевский, Дорошевич, Солженицын, Шаламов, лагерная проза, каторга, повествовательная стратегия, свидетель.

Библиографическое описание для цитирования:

Гузаевская С.Н., Родин К.А. Писатель и свидетель (рецепция «Записок из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского в литературе о каторге и ГУЛАГе) // Идеи и идеалы. – 2020. – Т. 12, № 1, ч. 2. – С. 216–231. – DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.2-216-231.

Каторжные работы в Сибири и сибирская ссылка стали массовым явлением в середине XVIII в., когда указами императрицы Елизаветы Петровны были введены ограничения на применение смертной казни. Постепенно в Сибири сформировался особый мир, включающий каторжных, поселенцев, надзирателей, конвойных, врачей и чиновников. По пути на Сахалин в 1890 г. А.П. Чехов пишет очерк «Из Сибири» [9], где отмечает, что не только обычный читатель, но и средний юрист не знают ничего о каторге и ссылке. Литературы об этом даже к 1890 г. было мало. Мир сибирской каторги занимал маргинальное положение в литературе XIX в. «Своя литература» была у Кавказа, бывшего, как и Сибирь, местом ссылки декабристов. До Ф.М. Достоевского у каторги не было своей литературы. Достоевский написал «Записки из Мертвого дома», которые стали прецедентным текстом не только для XIX, но и для XX в.

XIX в., исключая преступника из общества, не хотел знать о нем ничего. Ф.М. Достоевский был нов и оригинален, показав народные характеры и особый мир каторги, не имевший отношения ни к кому из потенциальных читателей. Текст был адресован обществу, обсуждающему разного рода нововведения, приведшие в итоге к судебной реформе 1864 г.

Ф.М. Достоевский написал о каторге так, что Цензурному комитету «изображение каторжного быта показалось... “соблазнительным” для

преступников» [14, с. 276]. И.Д. Якубович указывает, что Достоевским заранее был написан фрагмент, так и не вошедший в основной текст произведения, – фрагмент о свободе, назначение которого было изменить восприятие каторги как недостаточного наказания преступнику. Можно заметить, что по своему тону он не совпадает с тоном рассказчика «Записок из Мертвого дома» и приближается к «слову с оглядкой» (М.М. Бахтин) подпольного героя. Это и есть «слово с оглядкой» – оглядкой на Цензурный комитет, предупреждение ожидаемой реакции. Свобода является здесь в качестве наивысшей ценности, а вопрос о бытовых условиях как бы снимается. Противопоставляются две точки зрения на жизнь в каторге: «белоручки», «поверхностного наблюдателя» и человека, знающего каторгу изнутри и понимающего цену свободе. Поверхностный наблюдатель замечает только бытовые условия. О них Достоевский пишет, приукрашивая реальность: «Да Боже мой! – скажет он, – посмотрите на них: ведь иной из них (кто этого не знает?) хлеба чистого никогда не ел, да и не знает, какой такой настоящий хлеб-то на свете. А здесь, посмотрите, каким его хлебом кормят, его – каналью, разбойника!» Другой голос говорит: «А отчего же этот же счастливец рад бы хоть сейчас же бежать и бродяжничать? Знаете ли вы, что такое бродяжничество...» [5, с. 250]. Этот фрагмент, подчеркивающий, что каторга – это, главным образом, страшная для человека несвобода, не пришлось вставлять в текст: цензурное разрешение было дано и так.

Бытовые условия каторги для самого Ф.М. Достоевского были отнюдь не легко переносимы. В письме брату, написанном сразу по выходе на поселение, писатель рассказывает о плохой пище, постоянном недоедании, обуви с короткими голяшками, надеваемой в мороз, коротком полушубке, который служил также одеялом, не закрывавшим ноги. Достоевский подводит итог своему описанию каторжного быта: «Суди сам, можно ли было жить без денег, и если бы не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы. Но всякий что-нибудь работает, продает и имеет копейку. Я пил чай и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасало» [6, с. 170]. Все эти подробности реального каторжного быта в «Записках из Мертвого дома» скрыты от читателя (и цензуры). Чтобы избежать такого рода жалоб в тексте, Достоевский предусматривает для своего Александра Петровича Горянчикова возможность питаться отдельно от каторги купленным на базаре и отдельно приготовленным мясом.

Диегетический нарратор Александр Петрович Горянчиков времени написания «Записок...» описан как человек сломленный и некоммуникабельный. Он показан глазами условного издателя: «Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза.

Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» [5, с. 7]. Эта странность поведения и биография Горянчикова служат сюжетной мотивировкой для внимания, с которым будущий издатель «Записок» начинает следить за ним, подозревая в нем пишущего человека. Загадка Горянчикова, убийцы жены, отбывшего десятилетнюю каторгу, служит средством создания интриги и обуславливает интерес читателя к тексту внутри текста – собственно «Запискам».

Существует исследовательская традиция «Записок из Мертвого дома» Достоевского, которая на веру принимает тождество диегетического нарратора – Александра Петровича Горянчикова – самому биографическому автору. В.П. Владимирцев даже использует формулу «Достоевский–Горянчиков» для описания мировоззрения, представленного в тексте [2, с. 70–74]. Комментаторы «Записок...» полагают, что нельзя рассматривать Горянчикова «как самостоятельный образ-характер», считая его чисто условным персонажем, введенным ради цензуры [5, с. 289]. Но Горянчиков интересен не как персонаж, а как повествовательная инстанция. В письме брату Михаилу Достоевский писал: «Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного» [6, с. 349]. Вольф Шмид показал, что в подготовительных материалах к роману «Подросток», относящихся к 1874 г., Достоевский описывает эффект ограниченной компетенции молодого нарратора: «Подростку, в его качестве молокососа, и не открыты (не открываются и ему их не открывают) происшествия, факты, [составляющие] фабулу романа. Так это он догадывается об них и осливает их сам. Что и обозначается во всей манере его рассказа (для неожиданности для читателя)» [13, с. 51]. Достоевский умел пользоваться ограниченностью компетенции нарратора со времени написания «Бедных людей». Компетентность Горянчикова как нарратора тоже ограничена, он не занимает привилегированной позиции всезнания. Так, рассказывая о начальниках, о наказаниях, Достоевский добавляет примечание под текстом: «Всё, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в мое время. Теперь, я слышал, всё это изменилось и изменяется» [5, с. 152]. Во-первых, это «я слышал» очень важно, потому что информация неверная, адресованная Цензурному комитету², а во-вторых, проблематизируется понятие «автор». Примечание обладает двойной референцией: оно одновременно соотнесено и с самим автором, биографическим Ф.М. Достоевским, и с вымышленным – А.П. Горянчиковым, составителем «Записок...».

² Объективность описания Достоевским каторжного быта впервые была поставлена под сомнение Г.О. Берлинером, описавшим «цензурные уловки» Достоевского [5, с. 290].

Пройдет 50 лет, и В.М. Дорошевич опишет те же ничуть не изменившиеся порядки («начальник тюрьмы, не признававший непоротых арестантов») на Сахалине [4, с. 159]. Еще один пример – выражение «Я царь, я и Бог», употребляемое начальниками, чувствующими свою безнаказанность. О нем Горянчиков пишет: «К несчастью, такие выражения: “Я царь, я и Бог” – и много других подобных этому были в немалом употреблении в старину между многими из командиров. Надо, впрочем, признаться, что таких командиров остается уже немного, а может быть, и совсем перевелись», – здесь красноречиво «может быть». Неуверенность проявляется и в том, что информация дублируется, и опять неуверенно: «Конечно, теперь вряд ли уж есть такие и вряд ли найдется такой, чтоб прокричал: “Я царь, я и Бог”» [5, с. 90]. Безусловно, нарратор необходим Достоевскому не только для того, чтобы фигура уголовного (= какого угодно) преступника заместила его собственную фигуру политического преступника, но и для того, чтобы быть некомпетентным, не понимать до конца происходящего, не знать всей правды. Дорошевич, описывающий каторгу от своего лица, не споря по поводу «царя и бога» с Достоевским прямо, приводит случай, когда начальник употребляет это выражение, приведя в бешенство каторжника (как это происходит и в «Записках»: за это выражение убит Лучкой майор). И в стихах Паклина, каторжного поэта (глава «Поэты-убийцы»), перечисляются константы каторжной жизни, среди которых слова начальника тюрьмы: «Для меня вы ничто, / Я вам царь, я вам Бог» [4, т. II, с. 153].

То, что рассказчик глядит не вполне понимающими глазами, художественно и идеологически необходимо. Нарратор некомпетентен не только в отношении порядков. В сферу его интересов не входят взаимоотношения между арестантами, их реальные интересы, каторжная иерархия. В главе «Претензия» Горянчиков не только не понял, для чего арестанты строятся на площадке, но и почему он сам не должен участвовать в претензии.

Достоевский акцентирует непонимание, с которым Горянчиков описывает свои взаимоотношения с арестантом Петровым, который спрашивает у него о самых, казалось бы, отвлеченных вещах:

« – Гм. А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить: правда ли, говорят, есть обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной с самого высокого человека?»

– Да, есть такие.

– Какие же это?

Я объяснил, сколько знал, и это.

– А где же они живут?

– В жарких землях. На острове Суматре есть.

– Это в Америке, что ли? Как это говорят, будто там люди вниз головой ходят?

– Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете.

Я объяснил, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних антиподов» [5, с. 83–84].

Горянчиков подчеркивает свою чуждость каторге и делает вывод больше о себе, чем о Петрове: «Казалось мне еще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить, как с другими людьми, что, кроме разговора о книжках, я ни о чем не пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего» [5, с. 86]. При этом Петров описывается как «самый решительный человек в каторге». Рассказывается, как он ложился на кобылу («Обыкновенно он молча и решительно ложился под розги, молча терпел наказание и вставал после наказания как встрепанный, хладнокровно и философски смотря на приключившуюся неудачу. С ним, впрочем, поступали всегда осторожно» [Там же, с. 14]), как он собирался убить майора. Всё это говорится как бы «между прочим», «кстати»: «Замечу, впрочем, что этот Петров был тот самый, который хотел убить плац-майора, когда его позвали к наказанию и когда майор «спасся чудом», как говорили арестанты» [Там же, с. 84]. В главе «Претензия» о Петрове сказано, что он «так и сновал взад и вперед, прислушивался ко всем кучкам, мало говорил, но, видимо, был в волнении и первый выскочил из казармы, когда начали строиться» [Там же, с. 202], т. е. был, вероятно, одним из зачинщиков. Описание поведения Петрова выдает в нем человека, занимающего привилегированное положение в сообществе арестантов: авторитетного, не терпящего возражений, выступающего против начальства, к тому же Петров не занимается ремеслом. В драматичной сцене ссоры Петрова с Антоновым сила на стороне Петрова: Антонов «молча и поскорее выкинул ему спорную вещь» – в то время как «разом во всей шумной и крикливой казарме все затихли», ожидая развязки, а Горянчиков вышел, ожидая услышать «крик зарезанного человека» [Там же, с. 85]. В отличие от Горянчикова каторжане и сам Антонов понимают, чего можно ждать от Петрова, и не спорят.

В.М. Дорошевич напишет об «Иванах», возникших на страшной карийской каторге во времена Разгильдеева (1850–1852 гг.), т. е. во времена Достоевского, но в другом месте. Кроме священного ужаса, который вызывает презрение к телесным наказаниям, выказываемое «Иванами», как и Петровым у Достоевского, «Иваны» не должны иметь никаких должностей на каторге, не занимаются ремеслом. Авторитет их – это еще и власть знания. Петров у Достоевского – любитель разнообразных сведений совершенно неприкладного свойства. Эти сведения не упорядоченные, своего рода энциклопедия. Именно эти – необходимые ему – сведения уточняет Петров у Горянчикова, для этого задает свои странные вопросы. Прояснение целей Петрова, его места в каторжной иерархии (всё это не замечено Горянчиковым) тоже приходит через «Сахалин» Дорошевича. Описывается запис-

ная книжечка убитого при побеге с каторги Пащенко, убийцы 32 человек. Наряду с необходимыми сведениями о маршруте, которым следует идти на континенте, там есть «на первый взгляд, странные, но в тюрьме очень необходимые сведения:

– “Посредством гипнотизма можно повелевать чужим умом, то есть мозгом”.

– “Затмение солнца двадцать восьмого июля 1896 года”.

Список всех министерств:

– “В России монастырей 497: мужских 269, женских 228”.

– “Швеция и Норвегия – два государства, под влиянием одного короля. Занимает “Скандинавский” полуостров. Пять миллионов жителей. Столица Швеции – город Стокгольм и Норвегии – “Христиания”.

Также описаны все европейские государства, какой город столичный и где сколько жителей.

Далее идут сведения о “китайской вере” [4, т. II, с. 147–148].

Дорошевич рассуждает об этом так: «Сведения, казалось бы, бесполезные, но нужные, прямо необходимые для человека, который хочет играть “роль” в тюрьме.

Тюрьма, как и всё русское простонародье, очень ценит “точное знание”... Народ – мечтатель, народ не утилитарист, народ наш, а с ним и тюрьма, с особым почтением относятся к знанию не чего-нибудь житейского, повседневного, необходимого, а именно к знанию чего-нибудь совершенно ненужного, к жизни неприменимого. И, кажется, чем бесполезнее знание, тем большим оно пользуется почтением. Это-то и есть настоящая “мудрость”» [Там же, с. 148]. Авторитет перед простыми каторжниками держится в том числе и на такой «мудрости». Дорошевич рассказывает, как ему самому удалось заслужить доверие каторжного «Ивана», публично признав в его коверканной английской речи (слова были произнесены в соответствии с правилами чтения латыни) настоящий английский язык. Так был подкреплён авторитет «Ивана», старика Пазульского, в глазах каторги [Там же, с. 102].

Возможно, именно неубедительность Горянчикова как нарратора, его подчеркнутая наивность и обреченность (которых не было в самом Достоевском) дали возможность интеллигентам, оказавшимся на каторге, почувствовать себя новыми Достоевскими – с неминуемым снижением образа писателя. Разумеется, речь не идет, например, о народовольце П.Ф. Якубовиче. В его «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника» четко прописана дистанция по отношению к Достоевскому:

«Правда, страшно братья за задачу, которая однажды была уже блистательно выполнена великим художником. Несмотря на то что цели, которые я ставлю себе, очень скромны и я совершенно чужд претензии на художественность письма, мною все-таки овладевает невольное чувство бо-

язни, когда я вспоминаю о существовании “Записок из Мертвого дома”: таково очарование гения...

Я долго колебался... И только мысль о том, что столько изменений произошло в этом мрачном мире со времен Достоевского, что его эпоха отделена от нас уже несколькими десятками лет, так многообразно отразившись на всех сторонах и явлениях русской жизни, а между тем не слишком-то часто случается в истории, чтобы такие писатели, как Достоевский, шли в каторгу – одна только эта мысль побудила меня взяться наконец за перо и оттолкнуть все сомнения» [15, с. 1–2].

Для Якубовича важность описания каторги не подлежит сомнению: свой текст он написал дважды (первый вариант утрачен). Но, как видно, уже Якубович пишет о том, что каторга изменилась, что описанное Достоевским больше не существует. Еще и двадцати лет не прошло, а текст Достоевского перестал восприниматься как соответствующий реальности. Человек, представлявший каторгу по Достоевскому, оказавшись там, обнаруживает, что всё обстоит иначе. Он начинает писать, чтобы показать, каторгу «на самом деле», каторгу в текущий момент времени.

В «Сахалине» В.М. Дорошевича число таких пишущих огромно. Дорошевич рассказывает о пьяном, с разбитым лицом каторжнике, который видел в каторге свою миссию, а в себе – нового Достоевского и начал писать записки о каторге: «Я Достоевским хотел быть! Достоевским! Я в каторге свою миссию видел. Да-с! Я записки хотел писать. И всё разорвано. А почему разорвано? От смирения духом» [4, т. II, с. 37]. Каторжники рвут «Записки», подозревая в них доносы начальству. В итоге этот человек занялся написанием ложных доносов за плату. Это человек, убивший жену, совсем как Горянчиков, говорящий тоном Мармеладова и штабс-капитана Снегирева. Он представляет себе Достоевского одним из его героев и именно так, с героем, идентифицирует себя, начиная писать.

Другой каторжник – бродяга Сокольский, интеллигентный человек с тонкой душевной организацией, отдает В.М. Дорошевичу свои записки, говоря, что их начинает вести почти каждый, но все бросают и используют исписанные листы, чтобы сделать «цигарки». Сокольскому понятно, что он не Достоевский («куда до солнца»), но ему хочется показать разницу между каторгой времен Достоевского и современной ему: «Даже не “Мертвый дом”! – говорил он, вскочив со стула и энергично жестикулируя. – Даже не он! Там даже что-то было. Вспомните этот ужас, это отвращение к палачу. А здесь даже и этого нет... » [4, т. I, с. 136]. В высшей степени примечательно, что у Достоевского не описывается *отвращение* к палачу. Палач с точки зрения каторги – человек, наделенный огромной властью и внушающий «суеверный страх». О палачах рассказывают много «диковинок», им дают взятки, чтобы наказание было не таким сильным. Самая сходная с

«отвращением» мысль, которую высказывает Горянчиков, звучит так: «Право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непремennomу и неотразимому его разложению» [4, с. 155]. Это не имеет ни малейшего отношения к каторжной среде. Речь идет об обществе в целом. Таким образом, даже в сознании Сокольского, знающего наизусть «целые страницы из “Мертвого дома”», текст существует в искаженной версии. Примечательно, что это искажение соответствует общей тенденции изображения каторжников, в которых Достоевским показано «человеческое».

Таким образом, рецепция фигуры Достоевского, писателя на каторге, его текста, его повествователя приводит уже в XIX в. к возникновению самых разных форм подражания этому мнимому Достоевскому. Странная маргинальность Горянчикова, его неполная, недоговоренная правда, постоянное непонимание происходящего создавали иллюзорное представление о том, что любой человек, увидев каторгу, может стать писателем. Что для письма необходимо только прикосновение к материалу, видение нового, не виденного другими. «Орфей, спустившийся в ад», турист, – скажет в XX в. о таких писателях Шаламов [12, с. 151].

Уже цитированный «Сахалин» Дорошевича – одна из попыток показать, как всё обстоит «на самом деле». В отличие от выдуманного Горянчикова и реального Достоевского Дорошевич – мастер уголовной хроники и театральный критик – создал цикл очерков, а не художественное произведение. Он присутствует в тексте как биографический автор, без всяких масок. Он занимает позицию всезнания и описывает каторгу извне. Дорошевич рассказывает о своих источниках информации. Это и разговоры с каторжниками, и документы, предоставленные сахалинскими чиновниками, и записная книжечка убитого беглеца.

Предпосылкой обращения с исповедальным словом является позиция адресата-писателя, которую избрал Дорошевич: «Многие среди них сочувствовали желанию “написать всю правду про каторгу”» [3, с. 121]. Важно, что Горянчиков Достоевского не писатель, когда находится на каторге. Сюжетная мотивировка для раскрытия характеров арестантов состоит в том, что нужно понять, как жить в этой среде, а не описывать. Но уже этим он отличается ото всех, например от Акима Акимыча, который «того, что мне надо было узнать, – сообщить не мог и даже не понимал, к чему я так особенно интересуюсь характерами окружающих нас и ближайших к нам каторжных, и слушал меня даже с какой-то хитренькой улыбочкой, очень мне памятной» [5, с. 69]. Аким Акимыч не видит смысла в общении с заключенными из народа, да и думать не умеет. Горянчиков же наблюдатель, наблюдает жизнь каторги (народа) так же, как и подпольный человек на-

блюдает «живую жизнь», к которой не причастен. Поэтому его «понимание» народа во многом ложно (выше мы показали, что Достоевский создал Горянчикова «непонимающим») и слово его нелегитимно.

Достоевский, почти не имея возможности писать и даже читать на каторге, оставался писателем и смотрел на окружающих людей и мир вокруг как на материал литературы («Сибирская тетрадь», которую он вел в госпитале). В этом состоял метод натуральной школы: видеть жизнь как материал для литературного творчества. Дистанция его от этого материала огромна. Анализ психологии арестантов – «народа», разночинцев, дворян, поляков – осуществлен также с дистанции. Через писателя ни один каторжник не обрел голоса, не передал своего переживания, а превратился в персонажа. Даже рассказ Бакушина о том, как он убил немца, – не исповедь, а анекдот. Создание персонажа нужно не для памяти о человеке и об опыте. Между тем каторжники, как это видно у Дорошевича, совершенно не против рассказать о своей судьбе, чтобы она стала достоянием литературы, – вполне дантовский мотив. Но для этого писатель должен принадлежать чужому, большому миру. Вот причина, по которой они не доверяют женоубийце, пытавшемуся стать новым Достоевским, и рвут его записки.

Каторжники ждут от писателя помощи, но главным образом писатель должен стать рупором, через который частная жизнь каторжников, их несчастья, болезни, обстоятельства гибели должны стать известны миру. Видимо, так, обещая рассказать миру о преступлениях сталинского режима, привлекал к себе людей, деливших с ним воспоминаниями, и Солженицын. Как Дорошевич по отношению к каторжникам рубежа веков, так и Солженицын – к бывшим узникам ГУЛАГа играет как бы двойную роль: позволяет использовать себя, свою работу, чтобы чужой опыт, чужая память вошли в литературу; и в то же время писатель использует рассказы, биографии как материал. Это метод работы и Светланы Алексиевич, вобравшей в свое авторитарное слово множество голосов и лишившей их индивидуального звучания. В итоге писатель остается в выигрыше.

Дорошевич, описывая свои методы получения информации, говорит о доверии, которое чувствовали к нему и каторжники, и чиновники. Он хвалится своим умением встать на чужую точку зрения, понять, кем видит себя тот или иной каторжник («Хотите заслужить его расположение, смотрите на вещи его глазами и оценивайте всё с его точки зрения» [3, с. 32]). Показательна его стратегия в общении с Полуляховым, убийцей Арцимовичей. Нимало не сочувствуя преступнику, убившему семью с восьмилетним ребенком, прекрасно осознавая примитивность его восприятия и написав об этой примитивности (««Борьба за существование», понятая грубо, совсем по-звериному, – вот их религия» [4, т. I, с. 367]), Дорошевич обращается:

«Вы самый просвещённый здесь человек. Если судьба ваша так ужасна, так принесите хоть ту пользу, которую на вашем месте постарался бы принести всякий другой просвещенный человек. Помогите мне принести пользу другим, гибнущим в борьбе за существование» [5, с. 125]. Манипулятивная риторическая стратегия в разговоре с Полуляховым основана на том, что преступник считает себя просвещенным человеком с «ужасной судьбой», но всё же неплохим, т. е. тем, кто желает принести пользу другим. И этим пользуется писатель, задействуя авторитет Полуляхова в каторжной среде для того, чтобы разговорить других преступников и собрать материал для книги. Немаловажно в этом случае желание каторжников войти в литературу хотя бы в качестве персонажей: каждый из них считает свою историю в каком-то смысле выдающейся.

Дорошевич, как это свойственно публицистам, присваивает позицию истины. Его система ценностей не должна отличаться от системы ценностей читателя. Читая Дорошевича, читатель тоже вовлекается в эту игру точек зрения, тоже чувствует себя правым. Дорошевич, хоть и говорит о возможном исправлении преступника, упрекая систему исполнения наказаний в том, что для этого ничего не делается, реально только еще раз напоминает читателю, что следует радоваться удаленности этого страшного мира, этих людей от цивилизации.

Во второй половине XX в. появилась литература о ГУЛАГе. Огромная часть этой литературы, как показал Шаламов в своих разоблачающих текстах о Солженицыне, о Шолохове, создает фальсификат – сглаженное и тенденциозное изображение лагерной жизни. Потребовалась новая, неклассическая поэтика и новый тип писателя, отказавшегося от «писательства» и ставшего свидетелем (В. Шаламов, Примо Леви [7]). Восприятие ГУЛАГа, концлагеря как литературной темы подразумевает дистанцию и восприятие увиденного как своего рода «материала». Литература реализма нерелевантна лагерной теме XX в. Писатель, пишущий о лагере так, как писал о каторге Достоевский, т. е. для заработка, для литературного имени, больше невозможен. В XX в. это подделка под литературу, снижение фигуры писателя. Именно так продолжает литературу реализма Солженицын, поверивший Достоевскому, поверивший на самом деле его Горянчикову, последовательно смешивающий их и полагающий, что это Достоевский, а не Горянчиков провел на каторге 10 лет. С обидой говорит Солженицын: «Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель» [8, с. 131]. Шаламов оттолкнется от прозы Достоевского, но сделает это без обиды и с пониманием того, как изменилось социальное функционирование литературы. О «Колымских рассказах» Шаламов пишет: «Не документальная проза, а проза пережитая, как документ, без искажений “Записок из Мертвого дома”» [12, с. 487].

Искажения, которые допустимы, по мысли Шаламова, у Достоевского, недопустимы в литературе XX столетия, когда читатель «не хочет читать выдуманные истории, у него нет времени на бесконечные выдуманные судьбы» [Гам же, с. 493].

Настоящий писатель, свидетельствующий, а не «пишущий», по слову Шаламова – Плутон, поднявшийся из Ада. Он лишен дистанции по отношению к материалу, не должен «описывать» («мне некогда описывать» – Шаламов). Свидетель говорит только в настоящем времени, помня о том, что состояние зачеловеческого – не досадная случайность, от которой можно дистанцироваться, а никогда не заканчивающееся присутствие в ситуации. Дж. Агамбен, определивший концлагерь как место, где «чрезвычайное положение полностью совпадает с нормой, а предельная ситуация становится парадигмой повседневности», пишет о сегодняшнем дне: «До тех пор, пока чрезвычайное положение и нормальная жизнь остаются разделенными во времени и пространстве, оба этих состояния продолжают быть непроницаемыми для исследования, хотя втайне одно всегда поддерживает другое. Но как только их сговор делается явным, что в наши дни происходит всё чаще, они, так сказать, освещают друг друга изнутри» [1, с. 52].

Литература

1. *Агамбен Дж.* Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. – М.: Европа, 2012. – 190 с.
2. *Владимирцев В.П.* Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, документы: словарь-справочник. – СПб.: Пушкинский дом, 2008. – С. 70–74.
3. *Дорошевич В.М.* Как я попал на Сахалин. – М.: Т-во И.Д. Сытина, 1903. – 163 с.
4. *Дорошевич В.М.* Сахалин: (Каторга). – М.: Т-во И.Д. Сытина, 1903. – 640 с.
5. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 4. – Л.: Наука, 1972. – 326 с.
6. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 28, кн. 1. – Л.: Наука, 1985. – 572 с.
7. *Леви П.* Человек ли это? – М.: Текст, 2011. – 283 с.
8. *Солженицын А.И.* Малое собрание сочинений. В 7 т. Т. 6. – М.: Инком-НВ, 1991. – 575 с.
9. *Чехов А.П.* Из Сибири // Чехов А.П. Полное собрание сочинений: в 30 т. – М.: Наука, 1987. – Т. 14–15. – С. 5–38.
10. *Чехов А.П.* Остров Сахалин (из путевых записок) // Чехов А.П. Полное собрание сочинений: в 30 т. – М.: Наука, 1987. – Т. 14–15. – С. 39–374.
11. *Шаламов В.Т.* О прозе // Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 6 т. + т. 7, доп. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. – Т. 5: Эссе и заметки; Записные книжки, 1954–1979. – С. 144–157.

12. Шаламов В.Т. Переписка с И.П. Сиротинской // Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 6 т. + т. 7, доп. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. – Т. 6: Переписка. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. – С. 441–514.
13. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
14. Якубович П.Д. Комментарии: Ф.М. Достоевский. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. – Л.: Наука, 1972. – Т. 4. – С. 275–301.
15. Якубович П.Ф. В мире отверженных: Записки бывшего каторжника. В 2 т. Т. 1 / Л. Мельшин. – СПб.: Редакции журнала «Русское богатство», 1896. – 380 с.

Статья поступила в редакцию 14.08.2019.

Статья прошла рецензирование 01.10.2019.

DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.2-216-231

WRITER AND EYEWITNESS (RECEPTION OF DOSTOEVSKY'S “THE HOUSE OF THE DEAD” IN LITERATURE ON HARD LABOR AND GULAG)

Guzaevskaya Svetlana,

Cand. of Sc. (Philology),

Associate Professor at the Department of Linguistics and Intercultural Communication

Novosibirsk State Medical University,

52 Red Ave., Novosibirsk, 630091, Russian Federation

ORCID: 0000-0003-0131-9307

practicum-ege@gmail.com

Rodin Kirill,

Cand. of Sc. (Philosophy), Senior Researcher,

Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the RAS,

8 Nikolaeva St., Novosibirsk, 630090, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-6582-8939

rodin.kir@gmail.com

Abstract

The article presents an analysis of the narrative strategy used by F.M. Dostoevsky in *The House of the Dead*. The presence in the text of the diegetic narrator and the readers' lack of awareness of the realities of hard labor allowed Dostoevsky to create an artistic world that is perceived by the readers as “real”. It is shown that this method was deliberately used by the writer for the “censorship” of the text and the preservation of the distance from the material. The incompetence of the narrator justified the apparent compositional disorder of the text (Goryanchikov is not a professional writer), the subjectivity of his assessment and the lack of understanding of what is happening in hard labor. The text that compares the world of penal servitude, described in *The House of the Dead* with the real one, is *Sakhalin (Katorga)* by V. Doroshevich (first publication – 1903). Doroshevich and the heroes of his story, convicts, relate their experience with the experience presented by Dostoevsky. The sequential confusion in readers' minds of the narrator (Goryanchikov) and Dostoevsky's personality created an indicative figure – “writer in penal servitude” – and gave impetus to the emergence of many imitators, especially from among intellectuals who found themselves in penal servitude. The literary-centric culture of the 20th century allowed Aleksandr Solzhenitsyn to continue using the strategy of the “writer”; having subdued stories told by the victims of Stalinist repression to the author's intention and deprived them of the individual assessments. The article shows that the Shalamov's witness strategy contrasted precisely with this tradition originating in the false perception from the narrative strategy used by Dostoevsky in *The House of the Dead*.

Keywords: Dostoevsky, Doroshevich, Solzhenitsyn, Shalamov, literature on hard labor, narrative strategy, witness.

Bibliographic description for citation:

Guzaevskaya S., Rodin K. Writer and Eyewitness (Reception of Dostoevsky's "The House of the Dead" in Literature on Hard Labor and Gulag). *Idei i idealy = Ideas and Ideals*, 2020, vol. 12, iss. 1, pt. 2, pp. 216–231. DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.2-216-231.

References

1. Agamben G. *Homo sacer. III, Quel che resta di Auschwitz: l'archivio e il testimone* [Homo sacer. What remains after Auschwitz: the archive and the witness?]. Torino, Bollati Boringhieri, 1998 (Russ. ed.: Agamben Dzh. *Homo sacer. Chto ostaetsya posle Osventsima: arkhiv i sviditel'*. Moscow, Evropa Publ., 2012. 190 p.).
2. Vladimirtsev V.P. Zapiski iz Mertvogo doma [Notes from the House of the Dead]. *Dostoevskii: Sochineniya, pis'ma, dokumenty* [Dostoevsky: Works, Letters, Documents]. St. Petersburg, Pushkinskii dom Publ., 2008, pp. 70–74.
3. Doroshevich V.M. *Kak ya popal na Sakhalin* [How I got to Sakhalin]. Moscow, I.D. Sytin Publ., 1903. 163 p.
4. Doroshevich V.M. *Sakhalin: (Katorga)* [Sakhalin. (Katorga)]. Moscow, I.D. Sytin Publ., 1903. 640 p.
5. Dostoevsky F.M. *Polnoe sobranie sochinenii*. V 30 t. T. 4 [Complete Works. In 30 vol. Vol. 4]. Leningrad, Nauka Publ., 1972. 326 p.
6. Dostoevsky F.M. *Polnoe sobranie sochinenii*. V 30 t. T. 28, kn. 1 [Complete Works. In 30 vol. Vol. 28, bk. 1]. Leningrad, Nauka Publ., 1985. 572 p.
7. Levi P. *Se questo è un uomo* [If this is a Man]. Torino, Einaudi, 1989 (Russ. ed.: Levi P. *Chelovek li eto?* Moscow, Tekst Publ., 2011. 283 p.).
8. Solzhenitsyn A.I. *Maloe sobranie sochinenii*. V 7 t. T. 6 [Small Collected Works. In 7 vol. Vol. 6]. Moscow, Inkom-NV Publ., 1991. 575 p.
9. Chekhov A.P. Iz Sibiri [From Siberia]. Chekhov A.P. *Polnoe sobranie sochinenii*. V 30 t. T. 14–15 [Complete Works. In 30 vol. Vol. 14–15]. Moscow, Nauka Publ., 1987, pp. 5–38.
10. Chekhov A.P. Ostrov Sakhalin (iz putevykh zapisok) [Sakhalin Island: Travel Notes]. Chekhov A.P. *Polnoe sobranie sochinenii*. V 30 t. T. 14–15 [Complete Works. In 30 vol. Vol. 14–15]. Moscow, Nauka Publ., 1987, pp. 39–374.
11. Shalamov V.T. O proze [About Prose]. Shalamov V.T. *Sobranie sochinenii*. V 6 t. T. 5. *Esse i zametki; Zapisnye knizhki, 1954–1979* [Complete Works. In 6 vol. Vol. 5. Essays and Notes; Notebooks, 1954–1979]. Moscow, Knizhnyi Klub Knigovek Publ., 2013, pp. 144–157.
12. Shalamov V.T. Perepiska s I.P. Sirotinskoi [Correspondence with I.P. Sirotinskaya]. Shalamov V.T. *Sobranie sochinenii*. V 6 t. T. 6. *Perepiska* [Complete Works. In 6 vol. Vol. 6. Correspondence]. Moscow, Knizhnyi Klub Knigovek Publ., 2013, pp. 441–514.
13. Wolf S. *Narratologiya* [Narratology]. Moscow, Yazyki slavyanskoi kul'tury Publ., 2003. 312 p. (In Russian).

14. Yakubovich I.D. Kommentarii: F.M. Dostoevskii. Zapiski iz Mertvogo doma [F.M. Dostoevsky Notes from the House of the Dead]. Dostoevskii F.M. *Polnoe sobranie sochinenii*. V 30 t. T. 4 [Complete Works. In 30 vol. Vol. 4]. Leningrad, Nauka Publ., 1972, pp. 275–301.

15. Yakubovich P.F. *V mire otverzhennykh: Zapiski byvshego katorzhnika*. V 2 t. T. 1 [In the World of the Outcast: Notes of the Former Convict. In 2 vol. Vol. 1]. St. Petersburg, Russkoe bogatstvo Publ., 1896. 380 p.

The article was received on 14.08.2019.

The article was reviewed on 01.10.2019.